Пикуль В.С.

[Первый университет](http://lib.rus.ec/b/100895) //[Кровь, слезы и лавры: Исторические миниатюры](http://lib.rus.ec/s/4977). – М.: АСТ, 2010

**Валентин Пикуль**

**Первый университет**

**(Рвать цветы под облаками)**

**Историческая миниатюра**

Время было лютейшее, ужасающая «бироновщина», хотя сам герцог Бирон менее других повинен в угнетении русского народа. Пушкин верно заметил, что он был немцем, ближе всех стоял к престолу, и потому именно на него сваливали вину за все злодейства. Между тем в массовых репрессиях той поры виновата была сама императрица, подлинно «кровавая героиня» дома Романовых, пощады не ведавшая, а главным палачом состоял при ней не германец, а чистокровный русский – Андрей Иванович Ушаков.

По указу царицы со всей России везли ко двору дур и дураков, уродов и помешанных, просто говорливых баб-сплетниц. От них Анна Иоанновна получала ту полезную «информацию» о жизни народа, которым она управляла. Впрочем, не отвергая науку, однажды она через телескоп наблюдала за движением планеты Сатурн, ибо верила в астрологию. Когда же царица шествовала в храм ради молитвы, титулованные потомки Рюрика сидели на лукошках с сырыми яйцами, они и кукарекали ей, они ей и кудахтали…

В конце 1734 года место президента в Академии наук оказалось «упалое» (то есть вакантное). До царицы дошло, что ученые очень боятся, как бы власть не забрал секретарь Данила Шумахер, и она вызвала к себе барона Иоганна-Альбрехта Корфа.

– Вот ты и усмири… науку-то! – сказала императрица.– О президентстве забудь и думать. Ежели в Академии ученые палками дерутся и все зеркала побили, так наказываю тебе быть при науках в ранге «главного командира», дабы всем ученым дуракам страху нагнать поболе…

Корф был ворчун. Иногда он высказывал такие крамольные мысли, за которые, будь он русским, его бы сразу отвели к Ушакову на живодерню. Корф не был похож на пришлых искателей удачи, а русских не считал «варварами». При дворе с ужасом говорили, что барон все деньги тратит на приобретение редких книг, в Швеции он не побоялся читать даже «Библию Дьявола», прикованную к стене цепью, которую с трудом поднимали шесть человек…

«Главный командир» Академии вольнодумствовал.

– Странные дела творятся в науках, – говорил он друзьям.– Ученые Парижа считают, что Земля удлиненна в своих полюсах, подобно яйцу куриному, а в Лондоне доказывают, что Господь Бог расплющил ее, словно тыкву. Мне же хочется думать, что она круглая, как тарелка, и я верю в ее вращение…

Корф сразу заметил, что гимназия при Академии наук пустует, ибо все ученики ее разбежались, иных видели на паперти столичных храмов, где они Христа ради просили милостыньку. Пойманные с поличным, школяры горько плакали:

– Да вить с голоду-то кому умирать охота?..

Корф распорядился, чтобы по всей России объявили «розыск» острых умом юношей, пригодных для того, дабы науки осваивать. Такой указ получил и Стефан Калиновский, ректор Заиконоспасской академии в Москве, и он даже растерялся:

– Господи! Да где я двадцать остроумных сыщу, ежели студенты мои по базарам шляются, едино о щах с кашей думают. Которыми были у меня остроумны, тех по госпиталям пристроили, чтобы они естество человеческое показывали…

Среди избранных для учебы в столице оказался и некий Михаила Ломоносов. Ректор глянул на парня и сказал:

– Эка ты, дылда, вымахал! Сбирайся в дорогу до Питерсбурха, там у тебя остроумие развивать станут…

В декабре 1735 года явился грозный прапорщик Попов:

– Которые тута для ученья отобраны, тех забираю с собой. Оденьтесь потеплее, дабы в дороге не дрогнуть…

Среди счастливцев был и Дмитрий Виноградов.

–Митька,– сказал ему Ломоносов, садясь в санки,– а не забьют нас там, при Академии? Говорят, в тайной столичной «дикастерии» начальник ее Ушаков сильно лютует.

– Хоть бы кормили, и то ладно,– отвечал Виноградов…

Ехали учиться 12 студентов, из них только двое выбились в науку, остальные же, как писал Ломоносов, «без презрения и доброго смотрения, будучи в уничтожении, от уныния и отчаяния опустились в подлость и тем потеряны…» Потеряться в те времена было легко, а вот найти себя – трудно!

В день 1 января, когда Россия вступала в новый 1736 год, перед студентами взвизгнул шлагбаум, осыпая с бревна лежалый снег, и перед юношами открылась столица…Из домовых окон желто и мутно проливался свет, фонари зябко помаргивали, слезясь по столбам конопляным маслом. Кони вынесли их к Неве…

– Эвон, Академья-то ваша,– показал варежкой Попов.

Город, в котором жил и творил великий Тредиаковский, был наполнен всякими чудесами. В лавке академической Ломоносов купил книгу Тредиаковского о правилах русского стихосложения.

– Не! – сказал он себе после прочтения.– Эдак далече не ускачешь. Уж я попробую сотворить, но иным манером…

На обзаведение школяров Корф выделил сто рублей.

– Я для них столы уже купил, – похвастал Шумахер.

– А сколько стоит кровать? – спросил барон.

– Тринадцать копеек.

– Вот видите, как дешево. А я целых сто рублей отпустил. Там у нашего эконома Фельтена еще куча денег останется.

– С чего бы им остаться?– кротко вздохнул Шумахер.

– Можно,– размечтался барон,– сапоги и туфли пошить для школяров. Чулки купить гарусные. И шерстяные, чтобы не мерзли. Гребни костяные – насекомых вычесывать. Ваксу, дабы сапоги свои чистили… От ста рублей много еще денег останется!

– Да не останется! – заверил его Шумахер.

Тут Корф догадался, что деньгам уже пришел конец.

– Послушайте,– заявил он Шумахеру, отвесив ему пощечину,– я не великий Леонард Эйлер, но до ста умею считать и любого вора от честного человека отличить сумею…

Студенты пока не жаловались, до ушей барона бурчание их животов не доходило. Зато у Шумахера слух оказался острым:

– Вижу, что вам не сладкий нектар наук надобен, а каша… Прокопий Шишкарев, это ты кричал, будто я вас обкрадываю?

Шишкарев был разложен на лавке и бит батогами. Начиналось развитие «остроумия». Затем было велено Алешку Барсова «высечь при общем собрании обретающихся при Академии учеников…» Высекли! До чего же сладок оказался нектар науки. Ломоносов оставался небитым. Не об этом ли времени он писал позже:

Меня объял чужой народ,

В пучине я погряз глубокой…

Корф заранее списался с берг-физиком Иоганном Генкелем, жившим во Фрейберге, чтобы тот взялся обучать русских школяров химии и металлургии. Генкель ответил, что за деньги любого дурака обучить согласен. Но лучше прислать таковых, кои в латыни и немецком языках разбираются. Корф отобрал для учения в Германии поповича Дмитрия Виноградова и Михаила Ломоносова, сына крестьянского, указав им срочно учиться немецкому языку. К ним приставили третьего студента – москвича Густава (Евстафия) Райзера, сына горного инженера… Вот его отец, Винцент Райзер, и навестил Корфа в его палатах, уставленных шкафами библиотеки в 36 тысяч томов.

– Барон,– сказал Райзер,– я старый бергмейстер, и я знаю, что Генкель в горных науках разбирается, как свинья в аптеке. Не лучше ли было бы наших студентов послать сначала в Марбург, где парит высоким разумом знаменитый философ Христиан Вольф… Вольф к русским относится хорошо, еще при Петре Великом он приложил немало стараний, дабы в России завели Академию наук.

Корф согласился – пусть едут сначала в Марбург.

Он сам вышел проститься с отъезжающими студентами.

– Конечно, наша Академия будет посылать вам деньги. Но если немцы в Марбурге предложат вам платить за обучение танцами, вы откажитесь, ибо для развития химии в России танцевать необязательно. Я наслышан, каковы нравы тамошних студентов, а потому бойтесь главных причин человеческой глупости – женщин, вина, табака и пива!.. Я верю,– продолжал Корф,– что вас ждет великое будущее. Кто-либо из вас троих да будет навеки прославлен. Возможно, это будете вы,– повернулся он к Райзеру (который стал в России горным инженером, как и отец его).– Надеюсь и на вас, сударь,– обратился Корф к Виноградову (который открыл «китайский секрет» и создал русский фарфор).– Может, повезет и… вам!– неуверенно произнес барон Корф, с усмешкою оглядев Ломоносова, слушавшего его с большим вниманием…

Ветер наполнил корабельные паруса, и осенью 1736 года они были уже в Любеке, откуда прибыли в Марбург, где их душевно приветствовал сам Христиан Вольф; в Марбурге учились еще два русских лифляндца – барон Отто Фиттингоф и Александр фон Эссен (оба уроженца нынешней Латвии). Университет Марбурга уже отметил свое 200-летие; русские юноши получили студенческие матрикулы, в которых указывались им правила поведения, идущие от традиций мрачного средневековья: страх божий есть начало премудрости, нельзя заниматься колдовством и волшебничать, ни в коем случае не плясать на чужих свадьбах, в ночное время не шляться по улицам, укрывая лица черными масками…

Для русских все это было чуждо и внове! После Москвы с ее простонародными нравами, после блеска русской столицы Марбург показался глухой провинцией. Узенькие улочки, плотно стиснутые дома в древней плесени; горожане гордились тем, что когда-то сам буйный Лютер бывал в Марбурге, рассуждая о таинствах святой Евхаристии… Христиан Вольф обладал тогда гигантской славой, а русских он поучал смирению.

– Посмотрите на меня! – призывал он. – Прусский король изгнал меня из Берлина под страхом виселицы, но разве я потерял к нему уважение? Нет. Учитесь и вы почитать вышестоящих, ибо так повелел всевышний. Мы, – утверждал Вольф, – живем в самое прекрасное время, живем в самом лучшем из миров, и скоро вы сами убедитесь в чудесной гармонии мира, где все идет к лучшему… Когда вы поедаете мясо животных, то благодарите небеса за то, что вы не животные, обреченные на съедение!

Вольф видел гармонию даже в скрипении королевских виселиц, а «самый лучший из миров» состоял из богатых и нищих, где богатый пожирал бедного, словно мясо. Корф недаром предупреждал о соблюдении нравственности. Академик М. И. Сухомлинов писал, что немецкие студенты тогда «шумными ватагами ходили по городу, врывались в церкви во время свадеб и похорон, громили купеческие лавки и винные погреба, пакостили синагоги, разбивали окна в домах». Процветали тайные корпорации «срамников», члены которых давали клятву: никогда не мыться, в общественных местах портить воздух и всюду учинять самые гнусные мерзости, на какие только способен человек. Недаром же Фридрих Энгельс писал, что прошлая Германия – «только навозная куча, но они (немецкие обыватели) хорошо чувствовали себя в этой грязи, потому что сами были навозом… Это была одна гнилая и разлагающаяся масса…» Конечно, после тихой, чистоплотной и патриархальной Москвы русские студенты выглядели святошами.

Христиан Вольф, дурной философ, был отлично образован во всех других науках, и, пока не касался всеобщей «гармонии», он был блистательным знатоком технических материй. Его высокая мораль, мировой авторитет, колоссальные познания действовали на молодежь заразительно. На лекциях Вольфа ловили не только его слова; студенты отмечали в своих конспектах: здесь господин профессор изволил засмеяться, а тут он смахнул слезу. Вольф читал в университете лекции по 16 наукам сразу, начиная с высшей математики и кончая комментариями к сочинениям Гуго Греция о праве войны и мира. Райзер, Фиттингоф, Эссен с колыбели владели немецким языком, и Вольф озабоченно спрашивал:

– А вы, господин Виноградов, вы, господин Ломоносов, вам не трудно ли понимать мои уроки, прочтенные на немецком?

Они его уже понимали. Ломоносов осваивал даже французский, а без немецкого было просто не обойтись. Дело в том, что его поселили в доме вдовы марбургского пивовара Цильха, дочь которого Елизавета-Христина вызвала в холмогорском увальне самые нежные чувства. В таких делах, как любовные излияния, без хорошего знания языка не обойдешься. Обычно у нас пишут, что русские студенты, поддавшись соблазнам вольности, много кутили, отчего и нуждались в деньгах. Но это несправедливо. Конечно, им не хотелось ходить в прежнем затрапезе, они завели себе парики, кружева для манжет, щеголяли в шелковых чулках. Шпага тоже нужна – появись студент на улице Марбурга без шпаги на боку, и его штрафовали в целый гульден. Нужда русских студентов объяснялась чем угодно, но только не кутежами.

Лучше поверим немцу Пюттеру, который жил рядом с Ломоносовым, хорошо изучив его привычки. Все свои деньги Ломоносов расходовал на книги, платил фрау Цильх за стол и квартиру. Скромный в быту, он, по словам Пюттера, вел размеренный образ жизни, без излишеств: его завтрак состоял «из нескольких селедок и доброй порции пива». Селедка же в те времена была пищею бедняков! Пюттер писал, что скоро «сумел оценить как его прилежание, так и силу суждений и образ мыслей…». Тогда все вокруг дрались, но Ломоносов драк избегал, а если бурши задирали русского «дикаря», Ломоносов стелил всех кулаком в ухо – наповал. Христиан Вольф ведал о нуждах русских питомцев, он выгораживал их в письмах к русской Академии, ссужал в долг Ломоносову и другим.

– Вся ваша беда в том, что вы, русские, слишком доверчивы, – рассуждал Вольф. – Когда вы заимствуете деньги у меня, это для вас неопасно: ваша Академия «десиянс» со мною расплатится. Но зачем вы доверились наглым ростовщикам, которые теперь будут побирать с вас бешеные проценты?

– Что же делать? – приуныл Ломоносов.

– Буду писать барону Корфу…

Больше всех задолжал Фитгингоф, а меньше всех набрал долгов бережливый Райзер. Корф в Петербурге прочел сообщение Вольфа: «Я, право, не знаю, как спасти их из этого омута, в который они сами безрассудно кинулись», – говорилось о долгах ростовщикам Марбурга. Корф брякнул в колоколец, вызывая Шумахера:

– Распорядитесь о переводе денег господину Вольфу, дабы он рассчитался за студентов с марбургскими кредиторами.

– Да нету в Академии денег, – отвечал Шумахер.

– Однако вы нашли тысячу рублей, дабы прекрасным фейерверком отметить победы армии графа Миниха над турками…

Накануне этих грозных и далеких от «остроумия» событий хлопотливая Елизавета-Христина Цильх увидела русского постояльца плачущим. Она поставила кружку с пивом на стол и подошла к нему. Ломоносов смотрел в окно, а там, на фоне черневшего к ночи неба будто гигантский павлин распахнул свой дивный хвост.

– Ты плачешь? – спросила девушка.

– Плачу. Смотри сама. Даже сюда, в пределы германского Гессена, дошло мое родное северное сияние, по-латыни всеми учеными людьми прозываемое «Аврора Бореалис»…

Фрейлен Цильх взялась наводить порядок на его столе, заваленном конспектами лекций и стихами, стихами, стихами…

Елизавета-Христина показала на одну из строчек:

– Прочти мне ее по-русски, – попросила она.

– РВУ ЦВЕТЫ ПОД ОБЛАКАМИ, – отвечал Ломоносов.

После этих слов он расцеловал дочь пивовара.

«Более всего, – докладывал Христиан Вольф барону Корфу, – я полагаюсь на успехи г-на Ломоносова… молодой человек преимущественного остроумия… не сомневаюсь, чтобы возвратяся в отечество, не принес пользы, чего (ему) от сердца и желаю…»

Заканчивались последние лекции в Марбурге.

– Скажите, господин тайный советник, – спросил Фитгингоф у Вольфа, – есть ли у блохи кожа?

– Несомненно, – отвечал Вольф, – но из блошиной шкуры нам не сделать подметок, ибо она слишком нежна и порвется. Потому люди блох не щадят и легко давят между ногтями пальцев.

– Благодарю, господин советник, – поклонился Фиттингоф…

В феврале 1739 года студент Михаила Ломоносов женился на прекрасной дочери марбургского пивовара. О том, что он женат, в Петербурге долго не знали, да и сам Ломоносов, по договоренности с женою, скрывал это.

Вольф считал, что подготовка русских студентов в теории им завершена, теперь они нуждаются в хорошей практике. Барон Корф распорядился: отправить «руссов» в город Фрейберг, саксонскую столицу горного дела, где их ученье продолжит известный берг-физик Генкель. Настал день разлуки. Христиан Вольф сам проводил своих питомцев в дорогу. С бережливостью порядочного немца он выделил каждому по четыре луидора, но только в тот момент, когда они садились в карету. «При этом, – докладывал он Корфу, – особенно Ломоносов, от горя и слез, не мог промолвить ни слова». Наверное, он горевал не только из-за разлуки с Вольфом, но думал о жене, которую оставлял в неизвестности будущего.

– Прощайте!

И сытые кони сразу взяли в карьер…

Русские студенты еще находились в пути, а на стенах домов Фрейберга магистрат уже развесил строгие объявления, чтобы никто из горожан не давал им в долг даже пфеннига, ибо Россия неспособна оплачивать их долги.

Иоганн Генкель заверил магистрат в своей скупости:

– Я не Христиан Вольф, который потворствовал этим дикарям в их разгулах. Я ученый наук практических, и от меня русские каждый грошик станут добывать с кровью из носа…

Слово свое он сдержал! Когда три студента прибыли в славный Фрейберг, Генкель отсчитал для каждого десять талеров:

– Это вам на бумагу с чернилами, на пудру и на мыло. Выкручивайтесь как угодно, но два года учебы под моим начальством вы обязаны перебиваться как знаете…

Если в Петербурге студентов обворовывал Шумахер, то здесь главным вором был сам Генкель. В это же время Фрейберг посетил русский академик Готлоб Юнкер, изучавший соляное дело, ибо русские люди в соли всегда нуждались, а соляные копи Бахмута не могли разрешить соляной проблемы. Толковый и знающий человек, Юнкер охотно сошелся с русскими студентами. Поговорив с ними, он доложил в Петербург, что умнее всех оказался, конечно же, немец Райзер, затем неплох Ломоносов, а Митьку Виноградова он задвинул на последнее место. Юнкер увлеченно рассказывал студентам о походах русской армии против крымского хана; сам же он состоял историографом при фельдмаршале Минихе; оды Юнкера в честь герцога Бирона издавались тогда в самых роскошных переплетах, а вместо гонорара он получил камзол, обшитый серебряным позументом. Так что это был человек со связями.

Иоганн Генкель терпеливо выслушал его упреки:

– Вы посмотрите на русских студентов. Это же – оборванцы! Желаю, чтобы вы пошили для них приличное платье…

Генкель скрепя сердце отсчитал Райзеру и Виноградову деньжат для покупки сукна и приклада для новой одежды. Потом он придирчиво оглядел верзилу Ломоносова:

– На такого большого шить – сразу разоришься! Ничего. Походи так. Только на локтях заплатки поставь…

Но скоро Юнкер обратил на Ломоносова особое внимание, ибо, сам будучи поэтом, он любезно приветствовал поэта, еще никому не известного, но уже осмелившегося критиковать тогдашнее светило русской поэзии – Василия Тредиаковского.

– Так ему, дураку, и надо! – сказал Юнкер, остро завидуя громкой славе Тредиаковского. – А вы пишите, мой друг. Не стесняйтесь. Ваши стихи надобно бы показать в Петербурге. Может быть, они удостоятся внимания не только секретаря Данилы Шумахера, но даже… даже… мне страшно сказать!

– Скажите, – поклонился ему Ломоносов.

– Даже самой императрицы Анны Иоанновны… вот как!

Русская литература может сказать Юнкеру спасибо. Он разглядел талант в этом нескладном парне, а его рассказы о подвигах русской армии в знойном пекле южных степей оказались для Ломоносова полезны. Зато вот Генкелю мы «спасибо» не скажем. Это был не только педант, но и графоман, возомнивший себя великим ученым. Бывший аптекарь, он умел только хапать деньги, а вот дать студентам знания не умел. Академик В. И. Вернадский писал об этом пройдохе: «Генкель был химик старого склада, без следа оригинальной мысли, даже суеверным… полное непонимание всего нового или возвышающегося над обычным – таковы его характерные черты». Ломоносов, к своему удивлению, обнаружил, что из Марбурга он вывез познаний и опыта гораздо больше, нежели их было у самого Генкеля. Вот еще одно авторитетное мнение ученого Б. Н. Меншуткина: «Ломоносов как бы попал в среду, которая была живой еще 50 лет назад… он сразу окунулся в затхлую атмосферу ученого ремесленника, давно ушедшего от научной работы». Но зато этот берг-физик Саксонского королевства оказался ловким шпионом, и скоро в Петербурге проведали от Генкеля, что Ломоносов ведет «подозрительную переписку» с Марбургом, у него в голове только крепкое пиво и толстые девицы…

Ломоносов произнес страшное саксонское ругательство:

– Но! – что по-русски означало: «собачья нога». – Генкель чересчур важничает, а всю науку разложил по своим полочкам, как штанглазы в аптеке. Он судит о процессах в природе, о каких известно любому школяру, а если что у него спросишь, он отводит меня в угол и шепчет на ухо: «Увы, но это тайна Саксонского королевства…» Да я, – продолжал Ломоносов, – лучше полезу в шахту с киркой и лопатой, мне там любой старый штейгер расскажет о рудах больше этого старого дурака Генкеля…

…Была молодость, была любовь, случались и праздники! Шахтеры приветствовали своего русского собрата:

– Gluckauf!– В этом «глюкауф» заключались все страхи подземной жизни, все надежды на то, чтобы живыми выбраться из глубин земли и снова увидеть озаренное звездами небо…

Пылали в ночи, как факелы, плавильные печи. Из недр выходили рудокопы с лампочками. Они строились в шеренги, нерушимой фалангой текли по улицам древнего Фрейберга, их шаг был тяжел и жесток. В линии огней, принесенных ими из горных глубин, мелькали белки глаз, видевших преисподнюю тверди. Возглавлял шествие рудоискатель с волшебной вилкой – ивовым прутиком, на конце расщепленным. Торжественно выступали, одетые в черный бархат, мастера дел подземных – бергмейстеры и шихтмейстеры. Пламя факелов освещало подносы, на которых шахтеры несли богатство земли человеческой. Между горок серебра и меди, руд оловянных и свинцовых высились пирамиды светлого асбеста. И не боевые штандарты несли шахтеры на свой праздник, а несли купоросное масло в громадных бутылях. Ликующе звенели над Фрейбергом цитры и триангели. На дверях домов, даже на могилах кладбищенских – всюду увидишь, как гербы, шахтерские кирки, скрещенные с ломами: это – священные символы их каторжного труда.

– Gluckauf! – кричал Ломоносов заодно с шахтерами…

Вместе с друзьями, Евстафием и Митькой, он сам работал в забоях рудников, называемых красноречиво: «Божье благословение», «Коровья шахта», «Земля обетованная» или – даже так! – «Два часа ходьбы от Фрейберга». Но жить становилось день ото дня все труднее: Генкель мурыжил их затверженными истинами, хамил, где мог, кричал, словно капрал на новобранцев. Немецкие студенты за курс учебы платили ему сто рейхсталеров, зато с русских он драл по 333 рейхсталера. Нужда заела, одежонка сносилась. Генкель сжалился, выдал Ломоносову талеров, чтобы купил себе пару башмаков и две холщовые рубашки. Но этого было мало.

–Я добавлю грошей,– согласился Генкель,– при условии, что в лавке вы купите мои научные сочинения, слава о мудрости которых дошла даже до голых дикарей Патагонии…

Если Христиан Вольф выкладывал деньги из своего кармана, дабы помочь русским студентам, то Генкель все деньги, присылаемые из Петербурга, клал в свой карман и при этом мелочно, как базарный торгаш, доказывал барону Корфу, что русские с их гомерическим аппетитом его разорили. Однако во Фрейберге хлеб, масло и сыр только снились студентам.

– Ешьте суп,– убеждал их Генкель.– Суп– это великое изобретение германской кухни, и суп заменит вам все…

Ломоносов известил самого Шумахера: «Мы принуждены были раз по десяти к нему ходить, чтобы хоть что-нибудь себе выклянчить. При этом он каждый раз по полчаса читал нам проповеди, с кислым лицом говоря, что у него нет денег… а сам (как я узнал) на наши же деньги покупал паи в рудниках и получал барыши», богатея с рудничных доходов и спекуляций. Ломоносов, отказывая себе даже в супе, платил еще по два гроша городскому магистру, чтобы позволил читать «Галльскую газету». Магистр видел его нищету и голь, но даром читать газету не давал:

– Сначала плати гроши, а потом читай…

Конфликт с Генкелем был неизбежен. Чтобы смирить непокорного Ломоносова, Генкель все чаще заставлял его растирать сулему, вонища которой была невыносима. Когда подмастерья растирали краски для Тициана или Рафаэля, то они гордились своей работой, ибо служили гениям, а дышать зловонием во славу Генкеля…

– Нет уж! – сказал Ломоносов. – Пусть он сам нюхает…

Два гроша за чтение французской газеты Ломоносов платил не напрасно: в сентябре 1739 года вся Европа бурлила, взволнованная известием: русские войска взяли неприступную крепость Хотин, их боевые трофеи неисчислимы: сам трехбунчужный Колчак-паша сложил саблю к ботфортам Миниха, признав свое поражение.

Михаила Васильевич испытал внезапный восторг…

Задумавшись, он резко отодвинул от себя ненавистную сулему. В проеме окна ему виделся чужой город. Большие рыжие кошки шлялись по крутым черепичным крышам Фрейберга и не боялись свалиться. Ломоносов смотрел на них, но думал о своем. Он отлично понимал, что значит для России геройское взятие Хотина.

Сами собой, будто нечаянно, сложились первые строки:

Восторг внезапный ум пленил —

Ведет наверх горы высокой,

Где ветр в лесах шуметь забыл…

– Мишка, ты куда? – окликнул его Виноградов.

– Мне сейчас не мешай. Пойду…

На улицах он рассеянно задевал прохожих и лотки торговок, с которых местные девицы раскупали сверкающие минералы для украшений. Только бы не расплескать восторг понапрасну в толпе горожан. Ломоносов был углублен в самого себя:

Не Пинд ли под ногами зрю?

Я слышу чистых сестр музыку!

Пермесским жаром я горю,

Теку поспешно к оных лику…

Лишь бы не угасли в памяти эти строчки. Только бы донести сосуд поэзии, уже переполненный, до своего стола:

Златой уже денницы перст

Завесу света вскрыл с звездами;

От встока скачет по сту верст,

Пуская искры, конь ноздрями…

Дома его ожидала недописанная диссертация на тему о физике, но Ломоносов отодвинул ее – с такой же легкостью, с какой отбросил от себя и банку с сулемой. Сейчас не до физики! Его пленял восторг внезапный – восторг поэтический!

Виделись ему горы под Ставучанами, на которые ломились несокрушимые каре непобедимой российской армии…

Славянское солнце стояло в этом году высоко!

Выше… выше – выше! Чтобы рвать цветы под облаками…

Ломоносов штурмовал высоты парнасские, как солдаты штурмовали стены хотинские. Он писал оду – «Оду на взятие Хотина», но писал ее совсем не так, как писали стихи до него другие поэты.

Отныне зачиналась новая поэзия России:

Из памяти изгрызли годы,

За что и кто в Хотине пал,

Но первый звук славянской оды

Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые

Камена русская взошла

И дивный голос свой впервые

Далеким сестрам подала.–

как писал много позже один поэт.

Через воинскую победу, гордый за свое отечество Михайла Ломоносов выковал для себя победу поэтическую. Он прочел стихи академику Юнкеру, и тот сразу же сказал:

– Давайте мне свою оду. Я отъезжаю в Петербург…

На курьерских лошадях ода Ломоносова мчалась в Россию. Вместе с одой в столицу пришло и письмо Ломоносова «О правилах российского стихотворства». В этом письме молодой поэт бросал рыцарскую перчатку Тредиаковскому, вызывая его для поединка на турнире поэтическом…

А вскоре из Марбурга пришло известие: Елизавета-Христина Цильх, его тайная жена, принесла ему девочку.

Ломоносов в волнении небывалом выбежал на площадь Фрейберга, близкую к часу вечернему. Молчаливые женщины наполняли водою кувшины из фонтанов. Из-под Донатских ворот, от шахты «Божье благословение», возвращались в свои предместья измученные рудокопы. Они снимали шляпы, приветствуя прохожих, и те отвечали им обычным поздравлением.

– Глюкауф! – говорил шахтерам и Ломоносов…

Он желал им благополучных подъемов из недр к солнцу. И они отвечали ему тем же словом, как бы советуя подняться еще выше.

Высокие горы окружали старинный Фрейберг.

Высокие горы окружали и Хотинскую крепость.

Высокие истины предстояло еще доказывать.

Приходилось штурмовать. Иначе нельзя.

Будем учиться побеждать!

Люди, хоть изредка вспоминайте о Хотине…

Вот уж не думал Ломоносов, что, сочинив свою оду, подрубит сук, на котором сидел, распевая вдохновенно, Василий Тредиаковский… Молния, сверкнувшая под Хотином, блеснула над Фрейбергом, а в Петербурге она жарко опалила крылья Тредиаковского. Начинался закат его славы – так солнце, восходя, всегда свет луны затмевает. Ломоносовские стихи были написаны ямбом четырехстопным, и это казалось столь необычно для привычного слуха, что стихи Ломоносова стали в копиях по рукам ходить.

Тредиаковский к чужой славе горячо ревновал.

– Чему радуетесь, глупни? – говорил он. – Ямб четырехстопный противен слуху российскому. А мой способ писания есть самый лучший. Я же и утвердил его в поэтике русской…

Сначала, как и водится среди поэтов, Тредиаковский накатил на Ломоносова злодейскую эпиграмму. Малость отлегло от сердца. Затем он принес на Ломоносова «жалобу» в Академию наук:

– Кто знает вашего Ломоносова? Он делам горным учится, а в поэзии я самый главный, и поношение чести не потерплю…

Скупердяй – тот за одну копейку удавится.

Поэт – согласен удавиться за единое слово.

Но тут в судьбу поэта вмешался Данила Шумахер:

– Ода-то Ломоносова на имя государыни представлена. Ты сам-то соображаешь, к чему твои возражения привести могут? Или позабыл, каков кнут имеет Андрей Иванович Ушаков…

Оду Ломоносова в Академии изучали. «Мы, – писал академик Штелин, – были очень удивлены таким еще небывалым в русском языке размером стихов… все читали ее, удивлялись». Напрасно Тредиаковский умолял принять ею «жалобу». Шумахер ответил:

– А куда нам ее? Или отправить самому Ломоносову во Фрейберг? Так денег на почтовые расходы в Академии нету…

А события во Фрейберге шли своим чередом. Ломоносов, потеряв терпение, начал бушевать, требуя от Генкеля сущей ерунды – честности! Генкель бестрепетно отписывал в Петербург, что Ломоносов опять скандалит. Отчитываясь перед Академией, Ломоносов не щадил Генкеля: «Я же не хотел бы променять на его свои, хотя и малые, но основательные знания, и не вижу причины, почему мне его почитать путеводной звездой…»

Была уже весна 1740 года, когда вся русская троица явилась на дом к Генкелю. Ломоносов не за себя просил, а за Райзера и Виноградова, чтобы Генкель не скрывал от них жалованья. На это достопочтенный профессор показал им фигу.

– Даже если на улицах попрошайничать станете, – были его слова, – я ни единого грошика вам не уступлю…

После такого посула он набросился на студентов с кулаками. При этом кричал, что все русские – грабители:

– Разорили меня совсем! Ваша царица богата, и мне известно, что она может платить за вас, дураков, еще больше… А тебя, Ломоносов, ждет прямая дорога – в солдаты!

У себя дома Ломоносов впал в бешенство. Окно на улицу было открыто, даже прохожие останавливались, чтобы послушать, как русский студент обзывает Генкеля «собачьей ногой», саксонским страшным ругательством.

– Ломоносов, – жаловался Генкель, – столь дерзостен, что ругал меня именно в тот момент, когда по улице проходил капрал, а из окна соседнего дома выглядывал ветеран-полковник…

Ломоносов в клочья разодрал все «научные» труды Генкеля, а сам без гроша в кармане покинул Фрейберг, унося с собой только пробирные весы с гирьками, ибо без таких весов немыслимо заниматься химией. Он надеялся застать русского посла на ярмарке в Лейпциге, но посол выехал в Кассель. Делать нечего, а в ногах тоже есть правда: пошагал Ломоносов в Кассель, где посла тоже не мог сыскать. Давно и обостренно тосковал он по родине, но все-таки завернул в Марбург, где оформил тайный брак с Елизаветой-Христиной. Семья пивовара не обладала достатком, сидеть же на хлебах своей тещи Ломоносов не пожелал. Решил вернуться в Россию, а там… что будет, того не миновать! И пошел через всю Германию в Гаагу, опять пешком – так птица-дергач, когда другие летят, пешком возвращается в места родимых гнездовий.

В пути ему встретился калека – без ушей и без носа. Ломоносов разломил краюху хлеба, поделившись с несчастным:

– Отчего тебя так обкорнали? Уж не вор ли ты?

Инвалид сказал, что невольно служил королям прусским, заодно преподал Ломоносову толковый урок осторожности:

– Ты парень здоровый, за такими-то в Германии охотятся. По землям немецким ходи с опаскою, и сам не заметишь, как проснешься в Потсдаме от палки капрала… Глянь на меня!

– Да вижу, что уродом оставили.

– Это в Потсдаме! За частые побеги мои. Отрезали нос и уши, двадцать лет в тюрьме Шпандау сидел. А когда кровью ходить стал, меня выпустили – иди, мол, куда знаешь…

Где пешком, а где присаживаясь на запятки карет, даже на барке по течению Рейна – так Ломоносов добрался до Гааги, где и заявил послу графу Головкину, что желает вернуться на родину. Головкин, вельможа знатный, свысока ему ответил:

– Премного наслышан о ваших дерзостях! Да будет вам ведомо, что барона Корфа ныне в Академии уже нет, его заместили Карлом фон Бреверном, который указал вас сыскивать…

«Граф совсем отказал мне в помощи, – вспоминал Ломоносов. – Затем я отправился в Амстердам и нашел здесь несколько знакомых купцов из Архангельска, которые мне совершенно отсоветовали без приказания в Петербург возвращаться… потому я опять должен был возвратиться в Германию». По дороге в Дюссельдорф Ломоносов остановился ради ночлега на постоялом дворе; был он голоден, но грошей хватало только на одну кружку пива. За соседним же столом весело пировали люди в компании офицера. Этот офицер сначала внимательно оглядел могучую стать Ломоносова, затем сам подошел с улыбкой, пригласил поужинать.

– Да у меня и грошей нету, – отвечал Ломоносов.

– Не беда! – хохотал офицер. – Зато у нас полно талеров, есть даже саксонские гульдены. Иди к нам ради веселья!

Ломоносова встретили за столом, как друга, от души потчевали, подливали ему вина. Очнулся Ломоносов в казарме, а на шее у него болтался красный галстук прусского новобранца. Невольно вспомнил калеку без ушей и без носа, стал галстук отвязывать. Но тут вошел вчерашний офицер – с поздравлением:

– Ты молодец, что от службы королям Пруссии не отказываешься. И пяти лет не пройдет, как станешь капралом.

– Да я русский, а берлинским королям не слуга!

– Тогда, – отвечал офицер, – пошарь в своих карманах…

Из карманов вдруг посыпались прусские талеры.

– Что? Попался, свинья худая? Или забыл, что вчера задаток брал и пил за честь полка королевских гусар?

Тут Ломоносов понял, что надо спасаться.

– Вот какая удача мне выпала! – заорал он. – Да я и не мечтал о такой чести, чтобы гусаром в Потсдаме быть…

Всех рекрутов под конвоем отвезли в крепость Везель. Многие новобранцы рыдали, а Ломоносов больше всех радовался, внешне показывая капралам, как он доволен судьбой солдата. Однако немецких рекрутов разместили в Везеле по частным квартирам, а его, русского, оставили в караульне крепости – ради присмотра. Днями, когда стражи играли в карты, Ломоносов приучил себя спать, чтобы к вечеру бывать бодрым. Промашки в таком деле допустить нельзя, ибо без ушей и без носа жить плохо… Однажды после полуночи он тихо встал. Караульня крепости была наполнена храпением спящих. Дымно чадил фитиль в плошке, освещая грязные стены, по которым маршировали отважные легионы непобедимых прусских клопов. Ломоносов вылез через окно, ползком, как ящерица, миновал дремлющих часовых. Перемахнул через крепостной вал, а там – ров, наполненный затхлой водой. Переплыл его! Перед ним чернел высокий частокол гласиса. Перемахнул через него! Впереди лежало чистое поле… Он еще не успел удалиться от Везеля, когда со стороны крепости бабахнула сигнальная пушка.

– Господи, помоги. – И Ломоносов побежал…

Бежал всю ночь, бежал из Пруссии до самой границы Вестфалии, а за ним, преследуя его, стучали копыта лошадей: погоня! Ломоносов укрылся в лесу, и только в Вестфалии выбрался на дорогу. У шлагбаума его окликнули недреманные стражники:

– Эй! Кто такой? Куда путь держишь?

– Да студент я бедный, – отвечал Ломоносов. – Загулял по трактирам. Вишь, и галстука нет, все с себя пропил.

– Ну иди, коли так. Учись далее, будь умнее…

Скоро Академия наук в Петербурге получила от него письмо. «В настоящее время, – писал Ломоносов, – я живу инкогнито в Марбурге у своих приятелей и упражняюсь в алгебре, намереваясь оную к теоретической химии и физике применить. Утешаю себя пока тем, что мне удалось в знаменитых городах побывать». Карл Бреверн, глава Академии, вызвал секретаря Шумахера:

– Послушайте, сколько же будет Ломоносов болтаться по Германии, как неприкаянный? Составьте отношение для наших послов в Европе, чтобы помогли ему. Наконец, сыщите для него толику денег, дабы он мог домой выбраться.

Через Христиана Вольфа, жившего в Галле, был получен вексель на сто рублей, и Ломоносову было велено плыть в Петербург – сразу же, как откроется навигация на морях. Ломоносов расквитался с долгами в Марбурге, а жене своей наказал:

– Не плачь! Не бегу я от тебя, а лишь покидаю на время. Ты даже не пиши мне, пока не устрою своего будущего, ибо одной коркой хлеба мы, дорогая, сыты не будем…

Был жаркий июль 1741 года, когда Ломоносов вернулся на родину, с замиранием сердца ступил на родную землю. Петербург его досыпал утренние часы, за крышами Двенадцати Коллегий крутились крылья ветряных мельниц, паслись козы на травке, а зевающие кавалеристы вели коней к невскому водопою.

– Здравствуй, родина! – и очень хотелось плакать…

В это время на Руси случилось критическое «междуцарствие», на престоле Романовых оказался ребенок Иоанн, при нем кое-как правила страной беспутная мать, принцесса Анна Леопольдовна, но Академия наук, как и вся Россия, тоже оставалась бесхозной, ибо Бреверна, бывшего приятеля Бирона, удалили, власть над Академией полностью оказалась в руках секретаря Данилы Шумахера. Ломоносову он объявил, что у него уже имеется прочная слава одописца, за что его возведут в звание адъюнкта.

– А для житья выделим тебе две каморки в доме генерала Бона, что на Васильевском острове, где давно живут разные служители от ботаники. Но жалованья ты от меня не жди.

– Вот те раз! – удивился Михаила Васильевич.

– Удивляться не советую. Двор Анны Леопольдовны все деньги себе побрал на забавы, возьми книги в лавке академической, а потом на базаре продай их с выгодой… Все так делают!

Иначе говоря, советовал жить, спекулируя.

Избавь меня от хищных рук

И от чужих народов власти,

Их речь полна тщеты, напасти,

Рука их в нас наводит лук…

При Академии встретился ему напыщенный господин.

– Кто он таков, что важнее самого Ньютона?

– Наш коллега Ле-Руа, учивший азбуке детей герцога Бирона, а ныне он вполне научно доказал, что могилу Адама, прародителя нашего, следует искать на острове Цейлон…

Ломоносову для начала поручили разобрать коллекцию минералов. Все разобрал, только один камень был непонятен ему своим происхождением. Об этом он и спросил Шумахера:

– Из какой глубокой шахты его раздобыли?

– О! – закатил глаза Шумахер. – Этот минерал самый драгоценный в собрании Академии. Его обнаружили там, куда ни один шахтер не рискнет забираться со своей киркой и лопатой. Минерал был удален из правой почки польского короля Яна Собеского…

Ломоносову хотелось выбросить его на помойку:

– Вижу, что наши ученые далеко не чудотворцы…

На престол взошла Елизавета Петровна, не любившая немцев, и, когда Шумахера вывели из Академии под конвоем солдат, яко вора и преступника, Ломоносов не скрывал радости:

– Теперь заживем вольно, всласть поработаем…

Елизавета считала пришлых людей «эмиссарами дьявола» и, встретив в бумагах немецкое имя, сразу его вымарывала:

– Впредь на все важные места сажать токмо русских…

Но в карцер посадили самого Ломоносова, а виноватым он себя не считал. Просто в Боновом доме стало ему невмоготу. Там царил особый мир – ботаников и садовников, которые жили меж собою дружной семьей, сообща громили русские квартиры, оскверняли в домах иконы, а заправлял этим разбоем староста евангелической церкви Иоганн Штурм (тоже садовник). Ломоносов осатанел, когда у него с вешалки украли новый камзол, и пошел объясняться с этим вот Штурмом, чтобы его балбесы вернули украденное… Пришел, а там – дым коромыслом, все пьяные; имена их уцелели для русской истории, вот они: Люрсениус, Брашке, Граве, Шмидт, Прейссер, Битнер, какой-то копиист Альбом, а столяр Фриш стал орать:

– Эй, бейте этого дурака, что камзол ищет…

Ломоносов схватил «болван», на котором мастера парики свои распяливали, и пошел этим «болваном» работать справа налево, все гости были им враз повержены, а сам Штурм звал караул:

– Спасите! Моя жена с большим брюхом из окна выскочила…

Ломоносова посадили под арест, но скоро и выпустили, а императрица Елизавета даже обозлилась:

– По мне, так вернее Ягана Штурма выдрать, чтобы камзол Ломоносову вернул, а столяру Фришу и копиисту Альбому надобно всыпать как следует, чтобы себя не забывали…

Ломоносов перевел с немецкого на русский язык пышную оду Юнкера о коронации Елизаветы; на возвращение ее из Москвы в столицу он сам сочинил оду. Но в мае 1743 года Ломоносова снова томили под арестом, лишили его половины жалованья. Ломоносов буйствовал за честь науки, а невежество мстило ему, злобствуя.

– Ученость высоко чту, – утверждал Ломоносов, – но шарлатанов с дураками в науке бил, бью и буду бить…

На теле Ломоносова сохранились следы ранений.

– Меня ведь тоже бивали, – рассказывал он друзьям.

Ломоносов никому спуску не давал, ибо сознавал свое превосходство над копошившейся в науке мелюзгой, он буянил ради свершения великих дел, которые предстояло сделать, и он всегда хотел честно трудиться, а эта мелюзга только мешала ему…

Чересчур горько складывались его стихи:

Счастлива жизнь моих врагов!

…То, что Ломоносов свершил для науки, для нас с вами, читатель, слишком известно, и перечислять его труды нет необходимости. Пушкин писал о нем: «Он создал первый университет, он, лучше сказать, сам был первым русским университетом». Ломоносов – еще до Пушкина – переводил из Горация:

Я знак бессмертия себе воздвигнул

Превыше пирамид и крепче меди…

Не вовсе я умру; но смерть оставит

Велику часть мою, как жизнь скончаю.

«Рвать цветы под облаками»– это редко кому дается!

1976 г.